

ДВА СОЧИНЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Нашего постоянного автора-прозаика Владимира Порудоминского мы поздравляем с восьмидесятилетием!

В. Порудоминский – автор множества замечательных книг о русских ученых, писателях, художниках. Несколько поколений читателей зачитывалось художественными биографиями, написанными этим умным, энциклопедически образованным, тонким и глубоким мастером. «Гаршин», «Пирогов», «Даль», «Брюллов», «Николай Ге», «Крамской» – вот названия лишь некоторых из книг, созданных Порудоминским. К этому, далеко не полному, списку примыкают произведения, написанные специально для детей и юношества. Мы сами и наши дети учились прекрасному и благородному взгляду на жизнь по его книгам о русском сказочнике И. Афанасьеве, А. Полежаеве, И. Пущине, М. Михайлове и многих других ярких личностях русской истории и культуры. А чего стоят его чудесные повествования для детей о русском искусстве – «Первая Третьяковка», «Счастливые встречи»!

Особое место на художественно-исследовательском пути Порудоминского занимают работы, посвящённые образу Льва Николаевича Толстого. Годы были отданы изучению жизни и творчества русского гения. В результате этих трудов появились и продолжают появляться на свет новые сочинения автора, обращённые к этой теме. Он составил и снабдил комментариями многие книги и собрания сочинений Толстого, Гоголя, Тургенева, Гаршина, Чехова. В соавторстве с другом, замечательным писателем и исследователем русской культуры Натаном Эйдельманом, была подготовлена к изданию книга «Болдинская осень».

Антифашистские произведения В. И. Порудоминского, такие как «Евреи в Вильно» и переведённая на множество европейских языков художественная биография казнённого нацистами участника Сопротивления Эрвина Планка, сына выдающегося физика Макса Планка, – прекрасные образцы подлинно высокой и ответственной гражданской позиции автора.

Но диктатура в любом ее проявлении неприемлема для писателя. Человеческое мужество и благородство, способность сохранять достоинство, внутреннюю свободу и надежду на лучшее в самых тяжелых, подавляющих и унижающих личность жизненных обстоятельствах – тема сегодняшней прозы Порудоминского. Читатель полюбил и запомнил и повесть о судьбах российских немцев «Немец», и блистательный рассказ «Похороны бабушки зимой 1953 года».

Аристократизм и благородство всегда были присущи Владимиру Порудоминскому, а его сегодняшняя проза – тонкая, стилистически выверенная, мудрая – залог того, что нам предстоит ещё много лет радоваться его новым талантливым произведениям.

Доброго здоровья и сил для творческих свершений нашему любимому автору!

Редакция

»История – как отравленный колодец, вода которого просачивается в почву. Мы обречены повторять не то прошлое, которое не знаем, а то прошлое, которое хорошо известно».

Анна Майклз. Пути памяти

УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Мы обнаружили этого мальчика на заднем дворе у входа в полуподвал, где помещалось домоуправление. Такого мальчика никому из нас ещё никогда в жизни видеть не приходилось.

– Это что у тебя? – спросил Гага и подёргал за длинный завитой локон, свисавший у мальчика на виске из-под синей суконной фуражки.

Светлые глаза мальчика налились слезами. Он пожал плечами и ничего не ответил.

Я догадался, что это за локоны, – просто до этой минуты я был уверен, что таких мальчиков давно нет на свете и встретить их можно только в рассказах Шолом-Алейхема, которые я читал позапрошлым летом.

– Тебя как зовут? – снова спросил Гага.

– Нахум, – едва слышно ответил мальчик.

– На х...! – Гага громко расхохотался.

Гага, которого на самом деле звали Егором, был сыном дворничихи Петровны. Он был известным хулиганом, даже взрослые его побаивались.

– А что я с ним поделаю! – кричала тощая, похожая на вяленую рыбу, Петровна, когда кто-нибудь жаловался ей на сына. – Отец жив был – лупил смертным боем, а я что могу! Пойдёт воевать или в тюрьму, там уму-разуму научат!..

Она утирала глаза грязным белым фартуком. Отца Гаги, прежнего нашего дворника, убили на фронте в первый же месяц войны.

– Ну что ты к нему пристал? – сказал Анга и положил на плечо Гаге свою огромную ладонь, вызывавшую мою зависть.

Анга был сильнее всех ребят нашего двора, возможно, даже всех ребят, обитавших на нашей улице Сталина.

Мальчик с локонами на висках, в синей суконной фуражке, коротком пальтеце, с холщовой котомкой за плечами жался к стене, у входа в полуподвал. Мы трое обступили его. Он был младше нас, лет десяти-одиннадцати, и заметно мельче – узкие плечи, бледное лицо с нежным румянцем на скулах, тонкие руки.

Стоял ясный денёк ранней сибирской осени: неяркое солнце, свежий прозрачный воздух, в котором предметы гляделись объёмно и все цвета вокруг обозначались ненасыщенно, но чётко – бледная голубизна неба и маслянистая зелень штакетника, отразившиеся в налитой ночным дождем луже, золото длинных иголок лиственницы, уже начавших осыпаться в соседнем – детсадовском – дворе.

– Ты что – эвакуированный? – спросил Анга и кивнул на вход в полуподвал, где помещалось домоуправление.

Мать Анги, Алиса Эдуардовна, была у нас управдомом. Я помнил и его отца, латышского стрелка, такого же рослого, широкоплечего и светловолосого, как Анга, ходившего в длинной, чуть не до земли шинели и остроконечном, с большой красной звездой на лбу, красноармейском шлеме, – стрелок сумел умереть своей смертью, не дождавшись тридцать седьмого года.

– Выковыренный? – засмеялся Гага и снова потрепал пальцем локон на виске мальчика.

Мальчик испуганно смотрел на нас и молчал.

– Он не понимает, – сказал я.

– Не русский, что ли? – удивился Гага.

- Не понимает, – повторил я, не вдаваясь в подробности.
- Ты откуда? – Анга показал двумя пальцами идущего человека.
- Польша, – тихо сказал мальчик.
- Польша? У кого больше, тот и пан?.. – Гага снова захохотал.

Он достал из кармана обсыпанный табачными крошками белый мятный пряник и протянул мальчику: «Хавай».

Уже ввели карточки, но голодное время полной мерой ещё не коснулось нас. Скоро мы узнаем подлинную цену пайки хлеба и пригоршни сахарного песка, в школе на большой перемене нам будут давать в качестве бесплатного завтрака по полстакана кедровых орехов, полученный по талону ржаной пирог с жёсткой горбушей, засоленной так, что на поверхности белели кристаллы соли, покажется лакомством. Однако и в тот день, о котором идёт речь, мятный пряник уже почитался большой ценностью – просто так не купишь, так что нежданный жест Гаги был несказанной щедростью.

Мальчик с каким-то отчаянием посмотрел на белый рифлёный кружок, лежащий на грязной гагиной ладони, снова поднял глаза и еле слышно то ли спросил, то ли сказал:

– Кошер?..

Мы переглянулись.

– Чегой-то он несёт? – Гага повернулся ко мне, к Анге. – Думает, мы кошек тут, что ли, едим. Вот – дикие. Да ты бери. Мятный... – Он сунул пряник мальчику в карман пальто.

Мальчик пожал плечами и улыбнулся. В глазах у него были слёзы.

– Что это он? – спросил меня Анга. – Правда, будто с луны свалился.

– Может быть, по-немецки с ним поговорить? – предложил я. – Еврейский язык похож на немецкий...

Из двери полуподвала выбрался Семён Моисеевич по прозвищу Котовский. Толстый, с обритой наголо большой круглой головой, он и в самом деле походил на означенного всенародного героя, как его изображали на картинках.

Семён Моисеевич тоже воевал в гражданскую, был в кавалерии и любил рассказывать, что сам Будённый после какого-то боя похвалил его: «Хорошо рубишь, тэзка!»

– Мы ведь с Будённым – тэзки, – непременно прибавлял он. – Только он Семён Михайлович, а я Семён Моисеевич.

Наш Котовский был член домового комитета и заядлый общественник.

– Ничего не выходит, ребята, – обратился он к нам, будто полагая, что мы в курсе дела. – Придётся им дальше ехать. Алиса Эдуардовна так старалась, и туда звонила, и сюда, и не знаю, куда, чтобы как-нибудь их здесь оставить – всюду один ответ: ехать согласно предписанию. Конечно, предписание есть предписание, документ, – Семён Моисеевич произнёс слово с ударением на «у» и значительно поднял вверх палец, – но что значит «согласно предписанию», если предписание у них в К., это ещё шестьсот километров, а на вокзале сидит мать с двумя больными малыми детьми, и как туда в К. ехать, и когда, и на каком поезде, и что кушать по дороге, никто толком не может сказать...

Он нагнулся к мальчику и, задыхаясь, начал что-то быстро объяснять ему по-еврейски (тогда почти все, и моя бабушка тоже, у которой я жил в этом городе, называли идиш «жаргоном»). Мальчик, широко раскрыв глаза, с отчаянной надеждой смотрел в его круглое, красное лицо.

Появилась Алиса Эдуардовна и с ней отец мальчика, едва доходивший ей до плеча рыжебородый человек в посеревшем от возраста чёрном пальто с большими пуговицами и чёрной шляпе. У него были такие же, как у мальчика, ясные, светлые глаза.

– К сожалению, ничего больше сделать для вас не в силах, – сказала Алиса Эдуардовна. – Что могла.

Её строгое лицо, по обыкновению, казалось непроницаемым. Она протянула собеседнику руку; отец мальчика принял её крупную руку обеими руками:

– Что вы, что вы! Такое вам спасибо. Такое спасибо!..

– Что могла, – повторила Алиса Эдуардовна. – Доброго пути... Я на санэпид-станцию, – это уже Семёну Моисеевичу. – А вы не торчите во дворе. Идите уроки делать, – это, конечно, нам. – Анга, учти, вечером проверю математику за два дня.

– У меня всё в исправности, – спокойно ответил Анга.

– Об этом я тебе скажу...

Застёгивая на ходу свою вечную кожаную куртку, Алиса Эдуардовна широким, чётким шагом направилась к воротам.

Отец мальчика обвёл нас ясными улыбающимися глазами:

– Ой, как жаль, как жаль, как жаль, – заговорил он слегка нараспев, но при этом торопливо сглатывая слова. – Такие могли быть у тебя хорошие товарищи, – он потрепал плечо сына. – Смотри, такие большие, сильные, с такими никто не обидит. Нахум у меня очень хороший мальчик. А как в шашки играет! Всегда выигрывает. Но что делать! Дорог много, а судьба одна...

– А вы откуда будете? Из Польши, что ли? – спросил Гага.

– Откуда? Вы будете смеяться, молодые люди, но откуда уже нету, осталось только куда.

– У вас в К. есть кто-нибудь? Какие-нибудь родные? – спросил я, потому что сам жил у бабушки.

– Родные? Разве эта женщина – он показал в сторону удалявшейся Алисы Эдуардовны – мне не родная? И вы, дети, разве мне не родные? И он? – отец мальчика кивнул на Семёна Моисеевича. – Завтра в К. добрые люди дадут нам кусочек крыши над головой и станут наши лучшие родные.

Когда он улыбался, во рту у него белел ровный рядок мелких зубов.

– А чем вы занимаетесь? – поинтересовался Анга. – Где работаете?

– Чем занимается человек? Ловит счастье. Вот так... – Отец мальчика взмахнул рукой, будто ловил что-то в воздухе, и вдруг между указательным и средним пальцами его белой руки оказалась медная пятикопеечная монета. – Но счастье можно только ловить, поймать его нельзя. Только ты обрадовался, что поймал, его уже нет...

Он разжал пальцы, в руке у него ничего не было.

– Потрясно! – восхитился Гага. – Циркач, что ли?

Вниз по нашей улице, на небольшой площади, был разбит цирк шапито; в известных нам местах, где брезент покрыва не был плотно закреплён у земли, мы пролезали в помещение и, забившись где-нибудь на верхотуре, смотрели всё одно и то же представление, которое давали уходящим на фронт красноармейцам.

– Тателе, пошли, – потянул мальчик отца за рукав и прибавил что-то непонятное.

Гага сунул руку в карман, достал ещё один мятный пряник (пёк он их там, что ли): «Держите». Помедлил, снова полез в карман, достал ещё пряники, сразу два (похоже, минувшей ночью он со своими дружками с Заречной стороны навестил какой-нибудь продуктовый ларёк): «Вот – еще...»

– Ой, молодой человек, молодой человек! Вы ещё сами не понимаете. Когда у вас будет такая борода, как у меня, только совсем белая, вы будете приятно вспоминать этот день. Это я вам говорю.

– Пошли, – мальчик снова потянул отца за рукав. В глазах у мальчика была тоска. – Там мамеле ждёт...

И он снова залепетал что-то непонятное.

— Здесь шестьдесят рублей, — Семён Моисеевич протянул отцу мальчика две красных тридцатирублёвых ассигнации. — На них ещё можно купить что-нибудь. Там, у вокзала, бабы продают яблоки, так вы берите не румяные, а зелёные — зелёные сочнее...

Отец взял мальчика за руку, и, пока они пересекали широкое пространство двора, я видел, как он, склонившись к сыну, что-то горячо говорил и говорил ему, мальчик слушал его, подняв к нему голову, и от его узенькой спины с подвешенной на ней серой комкой веяло непереносимым отчаянием.

— Когда-то и я был таким мальчиком, — глядя им вслед, сказал Семён Моисеевич, — рос в местечке и учился в хедере разным глупостям. Но потом, слава Богу, попал в город, на завод. А потом революция, и — «По коням!» Даже не думал, что остались ещё такие местечки, такие мальчики. Ну да победим врага — всё по-своему переделаем...

Послышалась приближающаяся военная песня, ровный стук о землю сотен обутых в тяжёлые солдатские сапоги ног, — мы вышли за ворота. Слева, уже вдалеке, виднелись две удаляющиеся в сторону вокзала фигурки. Отец держал сына за руку и, склонившись к мальчику, всё толковал ему что-то. А следом, с другого конца улицы, заполняя её, вслед им, двигалась нескончаемая военная колонна, новые, не сношенные ещё подметки крепко, в лад, печатали шаг, обтянутые серым сукном шинелей плечи чуть покачивались в такт шагу и, казалось, раздвигали в стороны стоявшие вдоль улицы слева и справа дома, тысячи грудей, вдыхая свежий осенний воздух, дружно выкрикивали бравые слова песни: «Пятьдесят вторая, боевая, сибирская стрелковая дивизия идёт...»

МУЗЕЙ АННЫ ФРАНК

...Анна жаловалась в дневнике, что комната сырая и тесная, а ведь жила она в ней не одна, вместе с ней поселился ещё друг родителей, пожилой мужчина, позабыл его имя...

Высокий рыжий парень с небрежной бородой, стоявший впереди нас, был скорей всего голландец, но говорил по-английски.

— А почему она не жила в комнате с родителями? — спросила его спутница, маленькая — она не доставала головой ему до плеча, — смуглая, слегка раскосая, чёрные прямые волосы — что-то дальневосточное, Бирма, Непал, может быть, Лаос какой-нибудь.

— У родителей была своя комната, с ними жила старшая сестра Анны, Маргот.

— Мы всегда жили все в одной комнате, родители, дети, — впрочем, это была не комната — дом, не такой, как этот, конечно: одноэтажный дом, под камышовой крышей. Очень красивый. Я спала вместе с братьями и сёстрами. У меня два брата и четыре сестры.

На девушке были джинсы и трикотажная майка в полоску, вроде матросской тельняшки.

...Когда инженер Айзенштадт оборудовал малину в котельной, это в заброшенном доме возле рабочего блока, туда набилось двадцать четыре человека, а он рассчитывал на пятнадцать, — сказала Ханка. — Поверишь, невозможно было в уголок отползти за своим делом. Но всё-таки главный ужас не теснота, а духота...

— Вместе с Франками поселилась ещё одна семья, этажом выше, для них тоже были оборудованы комнаты, — объяснял рыжий голландец. — Муж, жена и мальчик, Петер, кажется...

— У него с Анной была любовь? — поинтересовалась дальневосточная девушка в тельняшке.

– Целовались, наверно, – снисходительно предположил рыжий.
– ...От недостатка кислорода люди сходят с ума, – сказала Ханка. – Жена Айзенштадта начала заговариваться, а потом принялась кричать, какие-то ужасы её мучали. Люди боялись, что услышат немцы, и уже сговаривались, чтобы её убить...

– Думаешь, могли убить? – Я вспомнил жену Айзенштадта, рыхлую женщину с обвисшими щеками и накрашенными губами, безобидную, как черепаха.

– Ещё как могли. Я знала отца, который в малине со страха задушил ладонью своего маленького сына. Чтобы не кричал. После войны они с женой хотели родить другого мальчика, но у них рождались только девочки – три девочки подряд, мальчика так и не получилось...

Прежде чем прийти сюда, на Prinsengracht, мы завтракали в кафе на площади, где стоит памятник Рембрандту, – художник со своего пьедестала задумчиво смотрел на студентов, лежащих на траве газона между работок, густо засаженных оранжевыми голландскими тюльпанами.

Я ещё накануне купил для Ханки билет в музей Ван Гога (её любимый художник), а заодно в Королевский музей – посмотреть «Ночной дозор», но прежде того мне хотелось показать ей город, провезти на кораблике по каналам.

Ближе к устью, где река впадает в море, удивительно много цапель. Из воды торчат старые, серые сваи, и на каждой – цапля, неподвижно, на одной ноге...

– Цапли – это красиво. Но сначала сходим к Анне Франк, – сказала Ханка.

– Торопись вспомнить?

– Просто не забываю...

Ханка лишь два часа назад, ранним утром, прилетела в Амстердам из своей Канады, полёт нелёгкий, большая разница во времени, я полагал, что она непременно захочет отдохнуть, но – едва я успел справиться в холле гостиницы с чашкой кофе и пробежать оказавшиеся на журнальном столике «Аргументы и факты» – она уже появилась из своего номера, красивая, стройная, пахнувшая свежестью умывания и какими-то лёгкими молодыми духами, – как бы небрежно, но обдуманно уложенные в причёске седые с чёрными прядями волосы, чёрное платье (она всегда носила чёрное), туфли на высоких каблуках, точно мы в оперу собрались, а не таскаться весь день по городу, – вечно прекрасная моя восьмидесятилетняя кузина.

День выдался погожий. Во взъерошенной солнечными бликами воде канала покачивались и ломались отражения стоящих вдоль набережной домов. У дверей музея Анны Франк, по обыкновению, выстроилась длинная очередь.

– Вот и хорошо, – сказала Ханка. – Есть время поговорить. Столько лет не виделись.

Мы встали в очередь вслед за рыжим и его дальневосточной малышкой.

– Из комнаты Петера вёл ход на чердак, ты увидишь, – просвещал рыжий свою подружку. – На чердаке они хранили продукты.

– На чердаке?.. А откуда они вообще брали продукты? Может быть, им птицы приносили?.. – Девушка засмеялась.

– Ты совсем глупая...

Рыжий нагнулся к ней, и они поцеловались.

– ... Потом Хейфецы и Шаргородские испугались облавы и ушли из малины, – вспоминала Ханка. – Стало больше воздуха. А тут ещё удалось вытащить пару кирпичей из наружной стены. И жена Айзенштадта перестала бредить.

– И что облава?

– Облавы не было. А они все попались там, на воле. И Хейфецы, и Шаргородские. Один Адик Шаргородский спасся. Ты помнишь Адика Шаргородского?..

Я познакомился с Адиком Шаргородским за год до войны, когда приехал на летние каникулы в М.: дядя Гриша, отец Ханки, устроил меня вместе с ней на две смены в пионерский лагерь, принадлежавший заводу, где он был главным инженером.

ром. Но тогдашнего Адика я не помнил. Я помнил толстого небритого мужчину, которого встретил полвека спустя в Израиле: он водил меня по парку в Ашкелоне, с гордостью показывал лежащие в яме раскопанные громадные каменные столбы и объяснял, что это руины разрушенного Самсоном дворца филистимлян (позже я прочитал, что дворец филистимского идола находился не в Ашкелоне, а в Газе).

— Они набрали на какой-то заброшенный сарай и решили там спрятаться. Но кто-то заметил их и донёс. Немцы тут же пришли и всех захватили. А Адик лежал в соломе под телегой и спал. Он очень устал и, как только попал в сарай, сразу уснул. Немцы его не заметили. И он, представь, даже не проснулся. Так всё быстро получилось. Когда он вылез из-под телеги, уже никого не было...

Видимо, большая группа посетителей — экскурсия какая-нибудь — закончила осмотр музея: мы продвинулись сразу на несколько десятков шагов ближе к входу.

— Продукты приносили сотрудники фирмы, знавшие про убежище, — объяснил рыжий. В доме помещалась фирма, которая до прихода немцев принадлежала отцу Анны...

— А почему сотрудники фирмы не прятались так же, как Анна и её отец?

Мы с Ханкой переглянулись. Прелесть наивности этой залетевшей невесты откуда дальневосточной пичужки была поразительной. Но по своей наивности она задала решающий вопрос — самый непостижимый вопрос, который так привычен и ясен для всех, что его уже давно перестали задавать.

— Но ведь нацисты уничтожали только евреев... — Рыжий парень с удивлением посмотрел на свою подругу, точно у неё на лбу появились таинственные письмена.

Смуглое лицо девушки было непроницаемым, в её чёрных, слегка раскосых глазах, снизу вверх устремленных на парня, оставался непоколебленный спокойный вопрос.

— Они считали, что евреи во всём виноваты, ну и... — Рыжий замаялся.

— Почему?

Рыжий снова посмотрел на девушку, будто с ней случилось что-то совершенно непредвиденное.

— Ты что, ничего не слышала об антисемитизме? — В голосе его послышалось даже некоторое неудовольствие.

Девушка задумалась.

— В Камбодже дети убивали своих родителей, — сказала она.

— Там, наверно, не было евреев, — парень с понимающей улыбкой обернулся к нам, как бы за поддержкой.

— В Камбодже евреями были родители, — сказал я. — Евреи уже давно не материальная субстанция. Они нечто привносимое, как эфир в старой физике. Без них трудно сопрягаются причины и следствия.

Мы снова вдруг резко продвинулись к входу.

— Анна, её родители и те, кто был с ними, провели в убежище два года и один месяц, — заторопился рыжий. — Ещё совсем немного, и они бы уцелели. Но нашёл-ся предатель...

— ...Сколько ты просидела в малине? — спросил я Ханку.

— Шесть дней. В ночь на седьмой, один знакомый парень помог, партизан, я ушла в лес. А через два дня малину накрыли. Их Яцук выдал. Добродушный такой старичок. Он был чертёжник и знал про эту подсобку в котельной. Он вообще всё и всех знал на заводе — ветеран. Одни говорили потом, что он ушёл с немцами, другие — что партизаны вычислили его и расстреляли...

— Кто же их выдал, Анну Франк и всех этих людей, и зачем? — спросила смуглая девушка.

— После войны три раза, кажется, проводили расследование, но доносчика так и не определили.

— Но всё-таки зачем? — повторила девушка. — Они что — мешали ему?

– Кто теперь разберёт – зачем? Может быть, боялся не сообщить, или завидовал, или хотел выслужиться...

– Скорее всего, они ему, действительно, просто мешали, – сказала Ханка по-английски, обращаясь к девушке.

Девушка внимательно посмотрела на неё своими чёрными маслянистыми глазами.

– Кто-то, нам неизвестный, позвонил куда следует, – рассказывал рыжий. – Эсэсовец Зильбербауер – его имя известно – в сопровождении нескольких наших голландских наци – пришёл и арестовал всех, кто находился в убежище.

– И что с ними сделали?

– Ты же знаешь, их отправили в Аушвиц, это лагерь уничтожения...

– Нет, с этим эсэсовцем, с вашими наци?

– Зильбербауера, кажется, судили, но он доказал, что лишь выполнял приказ и действовал корректно. После войны он служил в венской полиции. Я видел его портрет – самое обыкновенное лицо.

– Знаешь, Мюллер, ликвидатор гетто у нас в М., тоже служил потом в венской полиции, – сказала Ханка. – Коллекционировали их там, что ли...

– Ну, не только в Вене, – сказал я. – Гауляйтер Кёльна и Аахена Иозеф Грое, доверенное лицо Гитлера, возглавил позже крупную фирму игрушек, полвека продавал пасхальных зайцев и плюшевых медведей.

– ...Когда эсэсовец с пистолетом вошёл в убежище, отец Анны помогал детям готовить уроки, – продолжал рыжий: – они там постоянно занимались, чтобы не отстать от школьной программы.

– ...Их сразу можно было узнать по шагам, – сказала Ханка. – Они так крепко ставили ногу, сразу на всю стопу. Мне иногда снится: я прячусь где-нибудь, в подвале или в чулане, и вдруг слышу их шаги – хлоп, хлоп, хлоп – и понимаю: всё, конец. И просыпаюсь в ужасе. Даже дыхание останавливается...

...Я слышал эти шаги в середине девяностых в Москве.

Первое, что бросилось мне в глаза, когда они вошли в зал, были сапоги – три пары тяжёлых, прилежно начищенных сапог. Они вошли, трое, и, не задержавшись в дверях, сразу направились в центр зала, где на столе находился взятый под стекло небольшой – примерно полметра высотой – макет дома на Prinsengracht. На двоих из них были чёрные гимнастёрки, стянутые портупелями, на третьем – самом старшем, с редкими седыми усами и седой молодёжной челочкой на лбу, он держался посередине – простенький московшевеевский пиджачок. Где-то я видел это лицо, но поначалу никак не мог припомнить. Впрочем, где только не увидишь такое лицо – на улице, в трамвае, в конторе.

Имя Анны Франк долгие годы если упоминалось в России, то лишь нехотя, мимоходом. Но тут – свобода! – свергнутый памятник Дзержинскому, устремив незрячие глаза в небо, лежал, зарастая травой, под окнами Дома художников у Крымского моста, а в самом здании, в одном из залов, утеснившемся между шумных, броских экспозиций, почти незаметная и не замечаемая ни на афишах, ни в прессе, расположилась скромная выставка, посвящённая известной всему миру девочке и её дневнику, повсюду читаемому, – акция какого-то международного благотворительного, человеколюбивого общества.

Отведённый под выставку зал оказался слишком велик для небольшого макета и просторно разложенных в витринах фотографий и ксерокопий. Мы молчаливо бродили в пустынном, залитом светом помещении, всего шесть-семь человек, отделённые, казалось, вёрстами один от другого, все без исключения весьма почтенного возраста (как говорилось в давно забытом стихотворении, «пять человек, которым в сумме четыреста лет») и, похоже, единой национальной принадлежности. Изредка двое или трое из нас оказывались одновременно у стоявшего в углу монитора, на экране которого нон-стоп крутилась лента – история Анны

Франк, – всё так же в молчании, напряжённо всматриваясь и вслушиваясь, ловили мелькавшие кадры, слегка кивая головой, словно в такт проживаемой перед нами жизни.

Они – трое – остановились у макета, минуту-другую, хмуря лбы, читали размещённый на столе объяснительный текст.

– Развели тут свою агитацию, – сказал один в чёрной гимнастерке. У него было корявое лицо – видимо, следы мучивших его в юности волдырей. – Всех купили. Правду говорят: евреи в Кремле, русские в тюрьме. Ломом бы по этой игрушке...

– Да ты что! Квартирка что надо! – вступил в разговор другой, самый молодой из троих, почти подросток, похожий на Буратино. – Нам такие только при коммунизме обещали. Я бы сам с ними пожил. – Он подмигивал своим спутникам, и казалось даже, приплясывал. – И девчонка симпатичная. Вполне можно. Скажи? И мамаша ещё ничего...

Однажды в южном городе я шёл в многолюдии отдыхающих горожан по аллее местного парка. Вдруг толпа резко – почудилось, даже качнувшись, – остановилась, будто кто-то нажал на невидимый тормоз, – и замерла на месте. Выбравшись из кустарника, через аллею, неторопливо поворачивая своё сильное, послушное тело, по-хозяйски переползала большая чёрная змея. Наверно, если бы люди предполагали заранее возможность такой встречи, они бы не были парализованы страхом. Неожиданность обезоруживает растерянностью.

...Мы окаменели, ошалевшие от неожиданности старики.

Первой очнулась маленькая старушка в серой вязаной кофте.

– Как вы смеете!.. – пискнула она тонким срывающимся голоском. Но ей, наверно, казалось, что она кричит.

Пришельцы даже не взглянули на нее. Старший, в пиджачке, лишь повёл перед собой рукой, словно раздвигая воздух или отгоняя какое-то видение.

– Ложь. Всё ложь, – произнес он громко и отчётливо, будто читая со сцены. – Дома не было. Девочки не было. Дневника не было. Никто не прятался. Евреи в Амстердаме пили с немецкими офицерами в кафе оранжаду и торговали оружием, яблом, нефтью. А потом, когда земля захлебнулась в крови тридцати миллионов, xlabel ловкий еврейский сочинитель и накатал весь этот – старший пожевал губами, усмехнулся и презрительно выдал с нарочитым ударением на первом слоге: – **роман**. И человечество снова должно платить евреям за то гноище, в которое они обратили наш мир. Но – ничего. Недолго им ещё хануку праздновать.

Буратино притопнул от восторга и залился смехом.

Ставя ногу на всю ступню, они – трое – зашагали в своих сапогах к выходу.

И тут я вспомнил, откуда мне знаком этот человек. За несколько дней до того он появился на экране телевизора в сюжете «Новостей», где рассказывалось об оправдании судом российского издателя «Майн кампфа». Невысокий сухонький человек с седой чёлочкой на лбу, в простеньком пиджаке победно шествовал по проходу между рядами стульев в небольшом зале судебного заседания. У дверей зала и на улице его ждала толпа восторженных поклонников, – они встретили его овацией и забросали розами...

– Ну, кажется, наша очередь, – сказал я.

Мы были уже у самого порога музея.

– Мне даже немного страшно, – сказала смуглая дальневосточная девушка, когда мы вступили в вестибюль, показавшийся сумрачным после солнечной улицы и сверкавшей в канале воды. – Эта Анна Франк – как будто девочка из сказки с несчастливым концом. И заранее знаешь, что конец несчастливый.

– Ну что ты, – рыжий сверху ласково обнял её за плечи, слегка прижал к себе. – У всех сказок по-своему счастливый конец. И потом, это было так давно. наших родителей ещё не было на свете. Это для нас Анна – девочка. Если бы она осталась в живых, ей было бы уже семьдесят пять лет.

- Не может быть! – Девушка смотрела на него испуганно.
- Отчего же? – сказала Ханка. – Анна была на пять лет младше меня. Возле кассы были разложены путеводители на разных языках.
- Тебе английский? – спросил я Ханку.
- Не надо. Потом. Сами разберёмся, – сказала Ханка. – Как-нибудь уж сами разберёмся.